

ДЕРЕВЕНЬКУ ЗОВУТ ТИМОНИХА

1

Никогда не забуду, как началась наша дружба.

В начале 1963 года, в февральском номере «Невы», была напечатана моя повесть, или очерк, как тогда больше говорили, «Вокруг да около», произведение по тем временам довольно острое, поднимавшее ряд наболевших во-

просов в жизни пашей деревни и потому сразу же вызвавшие «проработочную бурю» (выражение А. Яшина) — разносные статьи, рецензии, даже так называемое открытое письмо земляков.

Но были, конечно, голоса и в защиту автора. Были письма, ободряющие, полные признательности за честный и правдивый разговор. И одним из таких писем, едва ли не первым, было письмо Василия Белова, тогдашнего студента Литературного института.

Памятным для меня в этом письме было и то, что, оказывается, они, Беловы, еще раньше всей семьей читали мой первый роман «Братья и сестры». «Моя мать и мои братья и сестры, — писал Белов, — это Ваши «Братья и сестры», вологодские крестьяне».

А кончалось письмо сообщением, что в той же второй книжке «Невы» за 1963 год, где опубликовано «Вокруг да около», напечатан и рассказ самого Белова, или рассказишко, как выразился он сам, со свойственной северянам скромностью.

Разумеется, я тотчас же прочитал «Любу-Любушку» — так назывался беловский рассказ. Написан рассказ был тонко, лирично, очень профессионально, но, может быть, несколько традиционно, без выворачивания всех потрохов деревенского бытия, а я тогда превыше всего в литературе ставил «голую» правду жизни.

Не помню, что я ответил своему корреспонденту, но с тех пор между нами завязалась переписка, а спустя года два с лишним, не без усилий нашего общего друга Александра Яшина, мы и встретились.

Встретились в Краснодаре на выездном пленуме Союза писателей РСФСР, где обсуждался вопрос о литературе и деревне.

Помню, Александр Яшин, первым разглядевший в Белове будущую звезду нашей прозы, был без ума от своего молодого земляка, он даже и называл-то его не иначе как Василий Иванович, а я, глядя на этого самого Василия Ивановича, па редкость моложавого, тогда еще гололицего, без нынешней, всем известной бороды, очень стеснительного, с камешком-картавинкой во рту, одним словом, выглядевшего сущим мальчишкой, не мог побороть улыбки, и Яшин, помню, очень злился на меня, просто выходил из себя.

Нет, нет, оригинальность Василия Белова я оценил сразу: у кого еще в мире такие глаза — широко распах-

нутые, младенчески простодушные и в то же время скорбные, налитые тревогой и болью за все живое на Земле.

Но врать не стану: не мне дано было провидеть его литературное будущее, хотя в письмах ко мне он не раз с увлечением говорил о работе над Иваном Африкановичем, а одну из глав «Привычного дела» — «Рогулина жизнь» — он даже писал у меня на глазах (в Доме писателя в Комарово) и даже читал мне, но, повторяю, я не сразу поверил в большое будущее молодого прозаика.

Понял я, что такое Белов, оценил сполна его дарование лишь после того, как целиком, еще в черновике, прочитал «Привычное дело».

2

Не знаю, под каким названием и под чьим именем войдет в историю литературы 1967 год, а для меня это год «Привычного дела», год Василия Белова.

Такого на моем веку, пожалуй, еще не было.

Студенты, школьники, старики — все бегали по библиотекам, по читальням, все охотились за номером малоизвестного дотоле журнала «Север» с повестью еще менее известного автора, а раздобыв, читали в очередь, а то и скопом, днем, ночью — без передыху. А сколько было разговоров, восторгов в те месяцы!

Покойный Георгий Георгиевич Радов, встретив меня в Малеевке, в писательском доме, о чем вострубил первым делом?

— Старик, в России новый классик родился!

Было удивительно и другое. «Привычное дело» приняли все: и «либералы» и «консерваторы», и «новаторы» и традиционалисты, и «лирики» и «физики», и даже те, кто терпеть не мог деревню ни в литературе, ни в самой жизни.

Что же произошло?

Был когда-то в деревне хороший обычай — на пасху мыть избу «с потолком и стенами». То есть выгребали, вываливали всю грязь, всю копоть, скопившуюся за зиму, — от лучины, от лампешки, от пряжи и тканья, а заодно выставляли и зимние рамы. И вот изба преобразалась на глазах: она молодела, в ней оживали выветрившиеся запахи дерева и даже на какое-то время поселялось само лето: в ночь на пасху вместо постели на полу расстилали духмяную солому.

Василий Белов своим дивным искусством обновил и освежил привычный мир в литературе, что, впрочем, делает каждый большой художник. Никаких словесных штампов, словесной шелухи, никаких затасканных выражений. Он нашел новые слова, новые краски, новую музыку фразы, и старый, с детства всем знакомый мир на страницах его повести засверкал по-новому, радужно, первозданно.

По какой-то нелепости издревле принято считать, что Север беднее красками Юга. Василий Белов своими бесподобными пейзажами доказал, что дело обстоит как раз наоборот.

Задал Белов загадку немалую и своим Иваном Африкановичем, главным героем повести. Сколько уж прошло времени со дня его появления в литературе? — пятнадцать лет. А споры вокруг него все еще не утихают. Кто он такой, этот Иван Африканыч? Положительное явление нашей жизни? А почему бы и нет. Всю войну на передовой, сама доброта и честность, бесменный работяга в колхозе и худо-бедно семейную ладью ведет... А с другой стороны, кто выпивоха, кто в загуле способен забыть про все на свете — и про ребятню свою, и про жену, которая из последних сил выбивается, таща на себе непосильный воз? И в конечном счете разве не Иван Африканович, который очаровал нас своей добротой и нравственной чистотой, разве не он является одним из главных виновников гибели своей жены?

Сложно, сложно замешен Иван Африканович, так что не сразу и скажешь, по какому разряду его зачислить, но вот что несомненно: образ Ивана Африкановича рожден из самых глубин нашей сложной национальной и социальной стихии, так что в нем отгадка и силы нашей да одновременно отгадка и слабости нашей, тех несообразностей, которых, увы, нам не занимать.

3

Пушкин — Михайловское, Лев Толстой — Ясная Поляна, Тургенев — Спасское-Лутовиново... А что за земля, взрастившая Белова?

Тимониha, лесная деревенька на Вологодчине.

Признаюсь, я не скоро привык к этому названию, — уж очень простоватым и бесхитростным показалось оно мне. А с другой стороны, разве не бесхитростностью, разве не простотой пленяет нас беловское письмо?

До родного гнезда Белова надо добираться из Вологды чуть ли не день. Сперва «железкой» до районного городка Харовская — это для меня, северянина, маршрут привычный, а от Харовской — старинным Кадниковским трактом, названным так по имени бывшего уезда.

Для местного жителя лесной многоверстный тракт этот овеян дорогими сердцу легендами и преданиями: сколько ведь тут за века прошло-проехало всякого народушку, и своего, и пришлого, а для меня, чужого человека, прежде всего это дорога Василия Белова. Дорога, которую он топтал с малых лет.

А топтал он ее немало, и все больше босиком да на голодное брюхо (ну-ка, у матери пятеро мал мала меньше ребятишек и отец на войне убит). И станции для меня на той дороге — это где да когда что было с Василием Беловым.

Ловко, я бы сказал, даже с шиком выворачивая бананку своего четырехколесного «вездехода» под брезентовой крышей, Белов рассказывает:

— Вот здесь я десятилетним ребятенком плакал. Целую ночь боронил, бригадир пообещал хлеба и обманул. . .

— А вот тут ранней весной, еще снег не весь сошел, я с лужей состязался. Версты две босиком брел. Ходил в одну деревню тряпки на хлеб менять да заодно и сапожки променял: баба обзарилась, без сапог и разговаривать не хочет. . . Дома две недели подряд баню топили, чтобы ноги направить.

— А вот это, — тут уж Белов улыбается, — паспортный мостик. Ходил за паспортом в район, а обратно и ноги не несут. Крошки хлеба с утра во рту не было. Ладно. Лег на мостик и давай паспорт изучать: авось какая-нибудь попутка подберет. Долгонько, до самого вечера изучал паспорт. . .

— Ну, а это лесной бар радости, — Белов своим глубинным прищуренным глазом кивает на матерое, довольно еще крепкое бревно (должно быть, лиственничное), что лежит на обочине. — Тут, когда в армию шли с ребятами, «малыша» давили.

Солнце было еще высоконько, когда мы спустились в долину зеленых холмов. Холмы невысокие, веселые, ярко раскрашенные первой весенней травкой, и на каждом холме деревенька. И все — на «ха»: Тимониха, Вахруниха, Лобаниха. . . Стоят, смотрят друг на дружку, как родные сестры.

— А реки-то вам что бог не дал?

— Как не дал? — У Белова от возмущения глаза обручем. — А паша Сохта не река? — И вслед за тем указывает на ручей, петляющий посреди долины. — Раньше на ней знаешь сколько мельниц стояло? А рыба-то! А вода-то какая. . .

Я с трудом сдерживаю улыбку. Потому что для меня, уроженца Архангелогородчины, разве это река?

А с другой стороны, и то сказать: прославленная на весь мир Воронка в Ясной Поляне — так ли уж ей по своим речным «статям» уступает Сохта?

Зато постройки на родине Белова мне понравились: сразу видно, что ты в краю потомственных плотников, когда-то доходивших с топором до самого Питера, — дома высокие, крепкие, окна большие, на городской манер. Только что бросается в глаза сразу? Ни одного нового дома на всю волость.

— Патриоты у тебя земляки, — снова не без подкуса замечаю я.

У Белова от боли перекашивается лицо — на самую большую мозоль наступили, потом, немного успокоившись, роняет:

— В мои годы знаешь сколько в нашей школе училось? — сто ребят. А теперь шесть, да и тех с будущего года в Харовскую переводят, в интернат. Подумать только, до какого прогресса дожили! На моей родине школы не будет. . .

У беловского дома нас по старинке встречали. Встречала мать Белова, Анфиса Ивановна, выбежавшая из дому на шум подъехавшего «газика» — босиком, без платка, совсем-совсем по-деревенски.

— Ну, чего с дороги первым делом? — спросила Анфиса Ивановна. — Пыль сдувать да брюхо ублажать?

— А если можно, то я бы первым делом хотел дом посмотреть.

Анфиса Ивановна всплеснула руками:

— Ну, ты как наш дед Михайло. Тот, бывало, куда ни приедет, первое слово: дом показывайте. Выспрашивать про хозяев — кто такие да как живете — долго. Беда дорожил временем. А тут раз-раз, и все видно, какого роду-племени люди.

Дом меня покорило. Хорош мастер был Михаил Григорьевич Коклюшкин. Все уделано добротню, крепко, со вкусом, фронтоны украшены резьбой. А уж по размерам

своим дом — богатырь. Две просторных избы спереди, светлица, клеть, подвал, поветь. . .

— Дом-то еще больше был, — говорит Анфиса Ивановна, — сарай на повети убрали. Дедушка в последние годы старенький, ветхий был, путать все начал. Все кричал: «Помогите выйти».

4

Благословенна неделя, прожитая в Тимонихе!

Утром я вставал часу в восьмом, когда внизу начинала ходить и греметь железным кольцом в воротах Анфиса Ивановна (я спал в светлице, рядом с поветью), бежал по росяной тропинке вниз к речке, купался в заранее облюбленной ямке, потом с часик жарился на утреннем солнышке, вольготно растянувшись на травянистом берегу, или рассматривал в речке рыбешку — полосатых окуньков и красноперых плотичек, тоже принимавших своеобразный утренний моцион, а затем той же тропинкой, но уже совершенно обсохшей, возвращался к Беловым.

Василий Иванович к тому времени был уже на ногах (сон меньше девяти часов он не признавал), мы наскоро завтракали, одновременно выслушивая от Анфисы Ивановны последние известия, и — за деревенскую работу, по которой и сказать нельзя как оба истосковались в городе. Жадно набрасывались на дрова, перекапывали грядки на задах, «браконьерничали» понемногу старой сетешкой в лесном озере (надо же чем-то кормиться), убрали двор.

У самого Белова было еще одно занятие — «газик». Ах, с каким удовольствием он, разостлав домашний половичок, залезал под машину, постукивал ключом, молотком, а потом, выбравшись, неторопливо, по-крестьянски, вытирал руки тряпкой или паклей.

Страсть к железу, к машинам у Белова с детства. Бывало, еще ребятенком он пропадал возле веялки и сортировки, а когда в колхозе появился первый трактор, он, по словам матери, и вовсе потерял голову.

О деревенских ремеслах я не говорю — тут Белов академик, иначе мы не имели бы «Лада», этой энциклопедии старой крестьянской жизни. Но особенно Белову, потомственному плотнику, открыта душа дерева — тут он поэт в каждом слове, потому-то и суждено ему было написать бесподобные «Плотницкие рассказы».

Нашлось у нас с Беловым в эти дни и еще одно дело, которое захватило нас целиком, — баня. Три раза за неделю мы топили баню — ну, не сумасшествие ли? Но, боже, с чем сравнить банные радости?

Впрочем, это, я думаю, понятно только настоящему северянину, где с незапамятных времен существует культ бани. Все нам с Беловым нравилось: нравилось таскать ведрами воду из речки (далеконько, правда, чуть ли не за полкилометра), нравилось разжигать дрова в каменке, нравилось хлебнуть первого банного дымка... А какое это удовольствие — попариться на раскаленном полку березовым веничком, да выбраться потом в сенцы, да, прикрывшись старенькой продыmlенной дверцей со стороны деревни (баня стоит в поле), присесть на скамейку, а еще лучше на щелястый изрубленный порожек, да всем распаренным телом вдыхать в себя ароматы первой зеленой травки, первой распутившейся черемухи...

Нам хорошо говорилось тут, в стороне от деревенской сутолоки, — недаром, шутят финны, их правительство все важные решения принимает в сауне. И, помню, однажды Белов изложил даже «банный» метод своего творчества:

— Я каждое время года баней меряю. То есть все через баню: и осень, и зиму, и весну, и лето. Стоит мне только представить, как я выхожу из бани, и я с особенной силой, прямо-таки физически начинаю чувствовать и запах травы, и запах земли, и запах дождя и воды. И небо и снег вижу иначе.

Подумал и добавил:

— Я, между прочим, так всегда и делаю, когда пишу пейзаж или человека: воображаю себя вышедшим из бани, и тогда сразу спадает с вещей вся пыль и короста повседневности.

5

Вологодская земля — суглинки да супеси — не очень хлебородна. Потому-то кадниковцы, как я уже отмечал, испокон века занимались отхожим промыслом — плотничеством.

Но вот хорошо родит вологодская земля — слово. В прошлом тут, в заповедном крае русской народной культуры, запросто жили и былина, и историческая песня, и скоморошина, и свадебная песня, сопровождавшая брачный пир чуть ли не в течение недели.

Сейчас этих мамонтов народного эпоса не встретишь,

они вымерли, безвозвратно ушли в небытие. Захирела сказка, которая кое-как еще держится в старушечьем да ребячьем сердце, даже такая неукротимая и бойкая особа, как частушка, редко ныне подает свой голос. И тем не менее кипит, играет народное слово в беловском краю. Как, впрочем, повсюду, на всех весях и градах наших.

Я жил неделю в Тимонихе — купался в слове.

Каждый день к Беловым заходили гости — старики, старухи, ребятнишки (любят Белова земляки), и острое словцо, притча, анекдот, «завирулина», или бухтинна, по-местному, так и сыпалась, так и сыпалась.

— Матрена, чего все молчишь? — спрашивает однажды Белов старуху, которая как села у печи на скамейку, так и не проронила ни единого словечка.

— А я, парень, ночью наговорилась.

— С кем?

— С комарами.

В другой раз старик, порядком засидевшийся у Беловых, спрашивает хозяйку:

— Чего у тебя, Анфиха, лавка-то серой смазана? Прилип — задницу оторвать не могу.

А то опять как-то с вечера похолодало — это всегда бывает в пору цветения черемухи, и вот уж одна старуха, с явным расчетом на игру, замечает:

— Заморозила эта черемуха. Вырубил бы всю к лешему — сразу теплее стало бы.

Большой ли срок неделя? Много ли увидишь за семь дней? А мне кажется, я за это время то в доме у Беловых, то на улице, то возле сельповского магазина, почти в тех или иных вариантах встретился чуть ли не со всеми прототипами героев Белова. Иван Африканович, его шурик Митька, Козонков... Да при желании кого-кого нельзя было вообразить.

Яркий, приметный народец живет на родине Белова: доморощенные поэты и философы (один старик все носит со своим проектом искоренения пьянства на Земле), безунывные забулдыги-выпивохы, великие труженицы-женщины, бессребреники, о каких только в книжках разве что и прочитаешь.

Например, Иван Афанасьевич Неуступов, первоклассный плотник, каких теперь, как говорится, днем с огнем не сыщешь, только в восемьдесят три года обратился в собес насчет пенсии.

— А где же раньше-то вы, дедушка, были? — спрашивают старика.

— А раньше-то я и без пенсии неплохо жил. Руки были. А теперь руки фуганок не держат.

Всматривался я, конечно, и в мелкие побегі. Сережка Агафонов, веснушчатый, рыжеволосый, голубоглазый, горделиво вышедший из магазина в новых ботинках за пять руб. пятьдесят семь коп. — чудо-мальчишка. Так и хотелось заглянуть в будущее: что-то будет с ним? Какое-то деревцо из него вырастет? И где, в какой земле он пустит свои корни? В родной, тимонихинской, или волна нынешнего повального кочевья захватит и его?

Немало, немало всякой всячины повидал я на беловской земле, но, конечно, самое большое диво — Анфиса Ивановна, мать Белова.

В первый день — шумное застолье да знакомство с деревней — я как-то не оценил ее. Невысокоенькая, уже порядком стоптавшаяся, вся какая-то теплая, медвяная (конопутками даже руки до локтей усыпаны) — это запомнилось сразу. И еще запомнилась доброта: так и подгребают, так и подгребают тебе все, что повкуснее на столе. А на другой день очарованье с первой минуты.

Утром спускаюсь тихонько, на цыпочках в сени, чтобы не разбудить никого, а Анфиса Ивановна мне и говорит: — Шепотком не ходи. Я давно не сплю.

Вот тут я и ахнул от восторга, да с тех пор всю неделю каждое слово ее ловил, потому что в каждом слове ее — поэзия.

Не выспалась однажды Анфиса Ивановна, и вот уж тебе стихотворение в прозе:

— Комаришко один всю ночь надоедал: «Спишь?» — «Сплю». Только начну засыпать, опять: «Спишь?» — «Сплю». Да так всю ночь мы и переговаривались.

А что за прелесть рассказ ее о том, как она ездила на свадьбу к своему знаменитому сыну. И если я не привожу его здесь, то только по причинам интимности некоторых подробностей.

По складу своего характера, по мироощущению, по культуре Анфиса Ивановна, как большинство людей ее возраста, человек двух укладов: старого, вековечно-национального и нового, советского.

Советское — во всем: газеты и книги читает, всем на свете интересуется, в колхозе — с первого дня, и все военные и послевоенные тяготы деревни кто вынес? Анфиса Ивановна. А раннее вдовство, безотцовщина, колхозная работа за «палочки» — ничто не миновало Анфису

Ивановну. И что же удивительного, что она — первый консультант сына-писателя по делам колхозной деревни. Но Анфиса Ивановна — живой справочник и по крестьянской жизни доколхозной поры.

Она наделена редкой памятью, в ней живет живой жизнью вся народно-поэтическая культура Севера, и Белов знает цену материнскому духовному молоку.

Наши матери, возвращенные в условиях старой, патриархальной деревни, не очень владели книжной грамотой, но зато они на редкость хорошо владели другой грамотой — грамотой сердца и души. И Анфиса Ивановна из числа их.

— Мне уж не соврать. Из-за этого я к телефону не подхожу и к дверям на звонок. Надо говорить: дома нету, а как, ежели дома?

Для друзей сына — она мать. И до сих пор сокрушается, что накануне гибели Николая Рубцова недостаточно к нему внимательна была.

— Вечером идем с внучкой по улице, а он с той, с женой, стоит: снег пушистый, шарф красный откинут назад. Я внучке говорю: смотри-ка, Коля Рубцов стоит. А надо бы заговорить с ним, может, он со мной бы пошел и никакой беды не было.

Само собой, были у нас с Анфисой Ивановной и разговоры о ее прославленном сыне.

По словам Анфисы Ивановны, Белов с детства был особенный ребенок.

— Задумистый был. Редко играл в ребячьи игры, все больше один. Читает, что-нибудь делает, строит.

— А про то, что у нас самая молодая фамилия по волости, знаешь? — простодушно спросила однажды Анфиса Ивановна. — В детстве Ваня, отец Васи, белый был, как заяц. У него и прозвище Заяц было. И вот из-за своей белости и фамилию получил. Отцовская-то у него фамилия была Петров, а в школе то ли по оплошности учителя, то ли по его собственной обмолвке записали отца Василия Ивановича — Белов, да так мы и стали Беловы.

Ни на одной карте мира не помечена Тпмопиха. Но есть, есть такая деревенька на Вологодчине, и свет ее далеко-далеко расходится по Земле.